# Глава V. Краткий трактат о нравственных основаниях экономических отношений

Чтобы рассказать историю долга, нужно еще и воссоздать картину того, как язык рынка пронизал все стороны человеческой жизни и даже обеспечил терминологию для нравственного и религиозного протеста против него. Мы уже видели, что ведийское и христианское учения в конечном счете двигались в одном и том же направлении: описав нравственность в категориях долга, они уже самим этим фактом показали, что в действительности нравственность не может быть сведена к долгу и должна основываться на чем-то другом[147].

Но на чем? Религиозные традиции предпочитают всеобъемлющие, космологические ответы: альтернатива нравственности долга лежит в признании единения со Вселенной, или в ожидании ее неизбежного уничтожения, или в полном подчинении божеству, или в уходе в другой мир. Мои цели скромнее, поэтому я буду придерживаться противоположного подхода. Если мы действительно хотим понять нравственные основания экономической и — шире — человеческой жизни, то, на мой взгляд, начинать нужно с самых мелких вещей: с деталей повседневной жизни в обществе, с манеры общения с друзьями, врагами и детьми; с таких незначительных жестов (подать соль, стрельнуть сигарету), о которых мы, как правило, вообще не задумываемся. Антропология показала, сколь разными могут быть формы человеческой организации. Но она выявила и примечательные общие черты — базовые нравственные принципы, которые существуют повсюду и к которым люди обращаются всякий раз, когда перевозят туда-сюда разные предметы или оспаривают права других людей на обладание ими.

В свою очередь, одна из причин, по которым человеческая жизнь так сложна, состоит в том, что многие из этих принципов противоречат друг другу. Как мы увидим ниже, они постоянно толкают нас в диаметрально противоположных направлениях. Нравственная логика обмена, а значит и долга, лишь один из них; в каждой конкретной ситуации на людей воздействуют совершенно разные принципы. В этом смысле нравственная путаница, о которой шла речь в первой главе, вовсе не нова; представления о нравственности до определенной степени исходят из этого противоречия.

***

Чтобы разобраться в том, что же такое долг, нужно понять, чем он отличается от прочих видов обязательств, которые люди могут нести друг перед другом; а это, в свою очередь, требует определить, в чем эти обязательства, собственно, заключаются. Однако на этом пути нас ждут специфические проблемы. Как ни странно, современная социальная теория, в том числе и экономическая антропология, мало чем может помочь в этом отношении. Существует обширная антропологическая литература, например о подарках, которая берет начало от «Очерка о даре», написанного французским антропологом Марселем Моссом в 1925 году, и об «экономиках дарения», функционирующих на совершенно иных принципах, чем рыночные экономики. Но в конце концов почти вся эта литература сосредоточивается на обмене дарами, считая само собой разумеющимся, что любое действие дарения влечет за собой долг и что получатель должен непременно отплатить дарителю. Так же как и в случае великих религий, логика рынка проникла даже в рассуждения тех, кто громче всех выступал против нее. Поэтому, чтобы создать новую теорию, я начну с азов.

Часть проблемы заключается в том, что сегодня в социальных науках экономика занимает исключительное место. Во многих отношениях к ней относятся как к ведущей дисциплине. От всякого, кто в Америке руководит чем-то важным, ждут, что он разбирается в экономической теории или, по крайней мере, знаком с ее базовыми принципами. В результате эти принципы стали считать устоявшейся истиной, не требующей доказательства (мы понимаем, что сталкиваемся с устоявшейся истиной, когда первой реакцией на попытку ее оспорить становится обвинение в обыкновенном невежестве: «Вы явно никогда не слышали о кривой Лаффера»; «Вам точно надо пройти курс по Экономике 101»; убежденность в непогрешимости теории настолько велика, что ни один из тех, кто ее понимает, не может с ней не соглашаться). Более того, те области социальной теории, которые более всего претендуют на «научный статус», — например, «теория рационального выбора» — начинают с тех же исходных допущений относительно человеческой психологии, что и экономисты, а именно что людей лучше рассматривать как игроков, движимых личными интересами и прикидывающих, как в любой ситуации в обмен на минимальные усилия или вложения добиться наилучших условий, наибольшей выгоды, удовольствия или счастья. Звучит забавно, если учесть, что экспериментальные психологи неоднократно доказывали, что такие допущения просто не соответствуют действительности[148].

С давних пор предпринимались попытки создать теорию социального взаимодействия на основе более благородных представлений о человеческой природе. Их авторы настаивали на том, что нравственная жизнь представляет собой нечто большее, чем взаимная выгода, что она базируется прежде всего на чувстве справедливости. Ключевым понятием здесь стала «взаимность», чувство равенства, баланса, честности и симметрии, которое воплощалось в нашем представлении о справедливости как о некой шкале. Экономические сделки были лишь одним из вариантов принципа сбалансированного обмена, причем вариант этот явно давал сбои. Но при более детальном рассмотрении выяснялось, что все человеческие отношения основаны на том или ином варианте взаимности.

В 1950–1970-х годах все словно помешались на этой идее в форме так называемой теории обмена, которая разрабатывалась в бесчисленных вариациях — от «теории социального обмена» Джорджа Хоманса в США до структурализма Клода Леви-Стросса во Франции. Леви-Стросс, ставший своего рода интеллектуальным богом антропологии, выдвинул

удивительную мысль о том, что человеческую жизнь можно разделить на три сферы: язык (который состоит из обмена словами), родство (которое состоит из обмена женщинами) и экономику (которая состоит из обмена вещами). Все три сферы, по его мнению, управлялись одним и тем же фундаментальным законом взаимности[149].

Сегодня звезда Леви-Стросса уже закатилась, и в ретроспективе такие категоричные утверждения кажутся смешными. Тем не менее никто не предложил новую смелую теорию, которая пришла бы всему этому на смену. Эти допущения просто отошли на задний план. Сейчас, как и прежде, почти все считают, что общественная жизнь основана на принципе взаимности, а значит, все человеческие взаимоотношения лучше всего рассматривать как разновидности обмена. Тогда долг лежит в основе любой нравственности, потому что долг — это то, что бывает, когда еще не восстановлен некий баланс.

Но можно ли свести всю справедливость к взаимности? Довольно легко представить себе формы взаимности, которые не кажутся справедливыми. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой» — на первый взгляд, прекрасная основа для системы этики, но у большинства из нас принцип «око за око» ассоциируется не со справедливостью, а с мстительной жестокостью[150]. «Дружескую услугу стоит возвращать» — это приятное чувство, но «почеши мне спину, а я тебе почешу» — принцип политической коррупции. В то же время есть отношения, которые выглядят совершенно нравственными, но со взаимностью не имеют ничего общего. Часто приводится пример отношений между матерью и ребенком. Большинство из нас восприняло чувство справедливости и нравственности от своих родителей. Но очень трудно представить отношения между ребенком и родителем, основанные на взаимности. Сделаем ли мы в таком случае вывод, что эти отношения не нравственны и не имеют ничего общего со справедливостью?

Канадская писательница Маргарет Этвуд начинает свою недавно вышедшую книгу о долге с подобного парадокса:

> У писателя-анималиста Эрнеста Сетон-Томпсона был странный счет, который ему подарили, когда ему исполнился 21 год. Это были записи расходов, которые вел его отец, пока Эрнест был ребенком и подростком; в них даже была указана сумма, выплаченная доктору, который его принес, когда он родился. Еще более странно то, что, как говорят, Эрнест этот долг выплатил. Раньше я думала, что г-н Сетон-старший просто был придурком, но теперь сомневаюсь[151].

Большинство из нас сомневаться не стало бы: такое поведение кажется ужасным и бесчеловечным. Разумеется, таким его считал и Сетон: счет он оплатил, но больше никогда не разговаривал с отцом[152]. Отчасти поэтому выставление подобного счета и выглядит столь возмутительным. Сведение счетов означает, что обе стороны могут распрощаться друг с другом. Выставив счет, отец дал понять, что не желает больше иметь дело с сыном.

Иными словами, тогда как большинство из нас считает разновидностью долга то, что мы должны нашим родителям, немногие из нас полагают, что его можно вернуть или даже что его нужно возвращать. Ну а если выплатить его нельзя, то что это вообще за «долг»? А если это не долг, то что тогда?

***

В качестве альтернативы напрашиваются те случаи взаимодействия между людьми, в которых ожидание взаимности наталкивается на стену непонимания. Рассказы путешественников XIX века полны такого рода историй. Миссионеров, работавших в некоторых частях Африки и иногда раздававших лекарства местным жителям, часто ошеломляло, как те на это реагировали. Вот характерный пример, который приводит один британский миссионер в Конго:

> Через день или два после того, как мы добрались до Ваны, мы повстречали одного туземца, у которого было сильное воспаление легких. Им занялся Комбер, который кормил его наваристым куриным супом; ему обеспечили заботливый уход и уделили немало внимания, поскольку его дом находился близ лагеря. Когда мы были готовы продолжать наш путь, этот человек уже поправился. К нашему удивлению, он пришел к нам и попросил подарок и был столь же удивлен и возмущен нашим отказом, как мы — его просьбой. Мы сказали, что это ему следовало бы принести нам подарок в знак благодарности. Он ответил: «Ну что ж, у вас, белых, стыда вообще нет!»[153]

В начале XX века французский философ Люсьен Леви-Брюль, пытаясь доказать, что «туземцы» исходили из совершенно иной логики, составил целый список подобных историй: например, о том, как человек, которого спасли, когда он тонул, попросил у своего спасителя подарить ему какую-нибудь красивую одежду, или о том, как другой туземец, которого выходили после того, как его искусал тигр, потребовал нож. Один французский миссионер, работавший в Центральной Африке, утверждал, что с ним такие вещи происходили регулярно:

> Если вы спасли человеку жизнь, то должны ожидать, что в ближайшее время он вас навестит; теперь у вас есть обязательство по отношению к нему, и избавиться от него вы можете, только сделав ему подарок[154].

Конечно, спасти кому-то жизнь — это почти всегда потрясающее чувство. Всё, что окружает рождение или смерть, непременно несет в себе оттенок бесконечности и потому опрокидывает любые привычные способы нравственных подсчетов. Возможно, именно поэтому в Америке такие истории стали своего рода клише, когда я рос. Помню, как в детстве мне часто рассказывали, что у эскимосов (иногда речь шла о буддистах или китайцах, но, как ни странно, никогда об африканцах) считалось, что если ты спасаешь

кому-то жизнь, то навсегда берешь на себя ответственность за этого человека. Это противоречит нашему представлению о взаимности. Но как бы то ни было, в этом тоже есть своя логика.

Мы не можем узнать, что на самом деле происходило в головах героев этих историй, поскольку не знаем, кем были эти люди и каковы были их ожидания (как они обычно общались со своими врачами, например). Но можем догадаться. Проведем мысленный эксперимент. Представим, что мы попали в такую страну, где человек, спасший другому жизнь, становился спасенному братом. Это предполагало, что они будут делиться всем и давать другому всё, что ему нужно. В таком случае спасенный непременно замечал, что его новоявленный брат — человек очень состоятельный, ему ничего особо не нужно, в то время как у самого спасенного не было многих вещей, которые мог дать ему миссионер.

С другой стороны, представьте более вероятную ситуацию, когда мы имеем дело с отношениями не между совершенно равными людьми, а совсем наоборот. Во многих частях Африки опытные целители были важными политическими деятелями, располагавшими обширной клиентелой из своих бывших пациентов. Потенциальный последователь заявляет о своей политической лояльности к нему. В этом случае дело осложняется тем, что в этой части Африки у последователей могущественных людей была довольно сильная позиция для торга. Получить надежных сторонников было трудно; важные люди должны были быть щедрыми со своими последователями, чтобы те не перешли в лагерь их противников. А значит, прося рубашку или нож, человек стремился удостовериться, действительно ли миссионер хочет сделать его своим сторонником. Напротив, расплатиться с ним стало бы оскорблением вроде поступка Сетона по отношению к отцу: приняв оплату, миссионер дал бы понять, что хотя он и спас этому человеку жизнь, но не хочет больше иметь с ним ничего общего.

Это лишь мысленный эксперимент — повторю, что мы на самом деле не знаем, что думали африканцы. На мой взгляд, в мире такие формы радикального равенства и радикального неравенства действительно существуют и каждый наполняет их своим пониманием нравственности, своими представлениями о том, что правильно и что неправильно в данной конкретной ситуации, и эти идеи о нравственности полностью отличаются от принципа «услуга за услугу». В оставшейся части главы я в общих чертах опишу их возможные формы исходя из предположения, что экономические отношения могут основываться на трех главных нравственных принципах, которые встречаются в любом человеческом обществе и которые я буду называть коммунизмом, иерархией и обменом.

# Коммунизм

Под коммунизмом я буду подразумевать любые человеческие отношения, которые строятся на принципе «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Я признаю, что использование слова «коммунизм» носит несколько провокативный характер. Оно вызывает сильную эмоциональную реакцию — в основном, разумеется, потому, что мы склонны идентифицировать его с «коммунистическими» режимами. Это тем

более забавно, что коммунистические партии, правившие в СССР и его сателлитах и по-прежнему пребывающие у власти в Китае и на Кубе, никогда не называли системы, существовавшие в этих странах, «коммунистическими». Они именовали их «социалистическими». «Коммунизм» всегда был далеким, несколько размытым утопическим идеалом, движение к которому должно было сопровождаться отмиранием государства и который должен был быть достигнут в отдаленном будущем.

Наши представления о коммунизме определялись мифом. Давным-давно у людей всё было общим — так было и в райском саду, и в Золотой век Сатурна, и у охотников и собирателей эпохи палеолита. Потом произошло грехопадение, из-за чего мы теперь страдаем от борьбы за власть и от частной собственности. Когда-нибудь благодаря развитию технологии и достижению всеобщего благосостояния мы наконец сможем, путем социальной революции или под руководством партии, вернуть всё назад, восстановить общественную собственность и общественное управление коллективными ресурсами. На протяжении последних двух столетий коммунисты и антикоммунисты спорили, насколько обоснованны такие идеи и приведет их осуществление к всеобщему счастью или к кошмару. Но все они были согласны в том, что касалось базовых вещей: коммунизм подразумевал коллективную собственность, «первобытный коммунизм» существовал в далеком прошлом и, возможно, однажды снова наступит.

Эту историю, которую мы любим себе рассказывать, можно называть «мифическим» или даже «эпическим» коммунизмом. Со времен Французской революции ею вдохновлялись миллионы людей, но она принесла человечеству огромный вред. По-моему, такое представление давно пора отбросить. На самом деле «коммунизм» — это не какая-то волшебная утопия, и ничего общего с собственностью на средства производства он не имеет. Он существует и сейчас, существует до некоторой степени в любом человеческом обществе, хотя общества, в котором всё было организовано таким образом, никогда не было, и даже представить себе его трудно. Все мы очень часто действуем как коммунисты. Никто из нас не действует как коммунист постоянно, «Коммунистическое общество», то есть общество, основанное исключительно на этом принципе, не могло бы существовать. Но все общественные системы и даже экономические системы вроде капитализма всегда зиждились на реально существовавшем коммунизме.

Отталкиваясь от принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям»[155], следует опустить вопрос о личной или частной собственности (которая в любом случае зачастую является не более чем формальной законностью), равно как и более насущные и практические вопросы о том, кто к каким вещам и при каких условиях имеет доступ. Всякий раз, когда этот принцип является оперативным, даже если взаимодействуют только два человека, мы можем сказать, что перед нами разновидность коммунизма.

Почти все следуют этому принципу, когда работают над каким-нибудь общим проектом[156]. Если кто-то чинит лопнувшую трубу и говорит: «Подай мне гаечный ключ», его напарник вряд ли спросит: «А что я за это получу?» — даже если оба работают в «Эксон Мобил», «Бургер Кинг» или «Голдман Сакс». Причина проста — речь идет об эффективности (что звучит довольно забавно, если учесть, что, согласно устоявшейся точке зрения, «коммунизм вообще не работает»): если вы действительно хотите что-то сделать, самым

эффективным способом добиться этого будет распределить задачи в зависимости от способностей людей и дать им то, что нужно для их выполнения[157]. Можно даже сказать, что одна из самых скандальных черт капитализма состоит в том, что внутреннее функционирование капиталистических фирм устроено по коммунистическому принципу. Они и правда не стремятся быть очень демократичными. Чаще всего их система управления по-военному иерархична. Но здесь часто возникает интересное противоречие, поскольку иерархические системы управления не очень эффективны: они способствуют отуплению тех, кто находится наверху, и мстительному крючкотворству тех, кто находится внизу. Чем больше потребность в импровизации, тем демократичнее становится сотрудничество. Изобретатели всегда это понимали, понимают это и капиталисты, создающие новые компании; этот принцип недавно заново открыли компьютерные инженеры — не только в том, что касается бесплатного программного обеспечения, которое у всех на устах, но и даже в том, что касается организации их собственного бизнеса.

По-видимому, именно поэтому сразу после разрушительных бедствий — наводнения, массового отключения электричества или экономического коллапса — люди, как правило, так себя и ведут, возвращаясь к примитивному коммунизму. Иерархия, рынки и тому подобные вещи становятся, пусть и ненадолго, роскошью, которую никто не может себе позволить. Всякий, кто оказывался в такой ситуации, может подтвердить, что в этих особенных условиях посторонние люди становятся друг другу братьями и сестрами, а человеческое общество словно рождается заново. Это важно, поскольку показывает, что мы говорим не просто о сотрудничестве. На самом деле коммунизм — это основа любого социального общения. Он делает возможным существование общества. Всегда можно предположить, что к любому, кто не является врагом, будут относиться исходя из принципа «от каждого по способностям», по крайней мере до определенной степени: например, если одному нужно понять, как добраться докуда-то, а другой знает дорогу.

Мы считаем это настолько очевидным, что любые исключения сами по себе примечательны. Антрополог Э. Э. Эванс-Причард, изучавший в 1920-х годах нуэров, нилотский народ, проживающий в Южном Судане и занимающийся скотоводством, рассказывает о своем замешательстве, когда он понял, что кто-то намеренно указал ему неверную дорогу:

> Однажды я спросил дорогу к какому-то месту, и меня намеренно запутали. Злой, я вернулся в лагерь и спросил, почему они указали мне неверный путь. Один из нуэров сказал: «Ты чужой, так почему мы должны показывать тебе правильный путь? Если бы даже посторонний нуэр спросил у нас о дороге, мы бы ему сказали: „Иди прямо по этой дороге“, но не сказали бы, что она разветвляется. Зачем нам ему говорить правду? Но теперь ты член нашего лагеря и добр к нашим детям, так что в будущем мы тебе будем указывать правильный путь»[158].

Племена нуэров находятся в постоянной вражде друг с другом; любой незнакомец запросто может оказаться врагом, который выискивает удобное место для засады. Было бы недальновидно давать такому человеку полезную информацию. Более того, сам Эванс-Причард находился в специфическом положении, поскольку был агентом британского

правительства, которое незадолго до того отправило Королевские ВВС нанести бомбовый удар по этому поселению, а потом насильно переселило его жителей. В таких условиях их обращение с Эванс-Причардом выглядит довольно великодушным. Но главное здесь заключается в том, что должно произойти событие подобного масштаба — непосредственная угроза жизни или нанесения увечий, бомбардировка гражданского населения с целью устрашения, — для того чтобы люди отказались показывать чужаку правильную дорогу[159].

Дело не только в дороге. Сфера общения вообще особенно предрасположена к коммунизму. Ложь, хамство, оскорбления и прочие виды вербальной агрессии играют важную роль, но их сила проистекает в основном из общепринятого убеждения в том, что обычно люди так не поступают: оскорбление ранит лишь тогда, когда человек полагает, что остальные, как правило, внимательно относятся к его чувствам; невозможно соврать тому, кто не считает, что обычно вы говорите правду. Когда мы действительно хотим разорвать дружеские отношения с каким-то человеком, мы перестаем с ним разговаривать.

Это же касается мелких жестов вежливости, таких как попросить закурить. Считается более правомерным попросить у незнакомца сигарету, чем соответствующее количество денег или даже еды; на самом деле, когда понимаешь, что перед тобой такой же курильщик, как и ты, ему довольно трудно отказать в просьбе. Дать спичку, поделиться какими-то сведениями или придержать дверь лифта — эти проявления принципа «от каждого по способностям» столь незначительны, что каждый из нас делает это не задумываясь. С другой стороны, то же самое справедливо, если потребности другого человека, пусть даже и незнакомца, носят чрезвычайный характер: например, если он тонет. Если в метро на пути упал ребенок, мы считаем, что всякий, кто может его поднять, так и поступит.

Я буду называть это «базовым коммунизмом»: в тех случаях, когда люди не видят друг в друге врагов и потребность считается достаточно значимой или не требует чрезмерных затрат, будет применяться принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Конечно, в разных сообществах будут применяться различные стандарты. В крупных, обезличенных городских сообществах эти стандарты могут ограничиваться тем, что люди просят друг у друга прикурить или спрашивают дорогу. Не густо, конечно, но это создает возможность для более широких социальных отношений. В меньших и менее обезличенных сообществах, особенно в тех, что не разделены на общественные классы, такая логика может заходить намного дальше: здесь, например, зачастую практически невозможно отказать в просьбе дать не только табак, но и еду любому, кто считается членом сообщества, а иногда даже постороннему. Всего через страницу после описания трудностей, с которыми он столкнулся, спрашивая дорогу, Эванс-Причард отмечает, что те же самые нуэры не способны отказать в просьбе дать любой предмет широкого потребления, когда имеют дело с кем-то, кого они признали членом своего племени. Мужчина или женщина, у которых есть излишки зерна, табака, лишние инструменты или утварь, расстанутся со своими запасами почти сразу[160]. Тем не менее эта готовность делиться и щедрость никогда не распространяются на всё. Часто вещи, которыми делятся с другими, считаются банальными и потому не имеющими особого значения. Для нуэров подлинным богатством был скот. Им никто не будет свободно делиться; более того, молодых нуэров учат, что они должны защищать его ценою своей жизни; по этой самой

причине скот никогда не продается и не покупается.

Обязательство делиться едой и любым другим предметом первой необходимости обычно становится основой повседневной нравственности в обществах, члены которых считают друг друга равными. Одри Ричардс, другой антрополог, описал, как матери из народа бемба, «столь нетребовательные во всем остальном», устраивают нагоняй ребенку, если дают ему апельсин или какое-нибудь другое лакомство, а он не делится им сразу же со своими друзьями[161]. Но если задуматься, в подобных обществах, как и в любых других, делиться — это еще и главный источник жизненных наслаждений. Поэтому потребность делиться особенно остро проявляется и в хорошие, и в дурные времена: не только во время голода, например, но и в моменты невиданного изобилия. Рассказы первых миссионеров о североамериканских туземцах почти всегда содержат исполненные благоговения замечания об их щедрости в голодные годы, зачастую по отношению к совершенно посторонним людям[162]. В то же время,

> возвращаясь с рыбной ловли, охоты или торговли, они обмениваются многими подарками; если они раздобыли что-то необычайное, даже если они это купили или им это кто-то дал, они устраивают пир для всего селения. Их гостеприимство по отношению ко всем чужакам заслуживает внимания[163].

Чем пышнее пир, тем скорее на нем можно увидеть некое сочетание совместного пользования одними вещами (например, едой и питьем) и тщательного распределения других: скажем, лучшее мясо, добытое в игре или принесенное в жертву, часто раздается в соответствии с детально разработанными правилами или со столь же разработанным обменом подарками. Раздача и получение подарков зачастую приобретают явный игровой оттенок и нередко действительно связаны с играми, состязаниями, маскарадами и выступлениями, которые так часто устраиваются на народных празднествах. Как и в обществе в целом, совместные празднества могут рассматриваться как своего рода коммунистическая основа, на которой возводится все остальное. Это также помогает подчеркнуть, что делиться вещами — жест, который определяется не только нравственностью, но и удовольствием. Удовольствие можно получить и в одиночку, но для большинства людей приятнее всего то, чем можно поделиться с другими: музыка, еда, напитки, наркотики, сплетни, драма или постель. В основе большей части вещей, которые мы считаем развлечением, лежит определенный коммунизм.

На наличие коммунистических отношений яснее всего указывает то, что они не только не предполагают ведения учета, но и даже попытка это сделать выглядела бы оскорбительно или просто странно. Например, каждый поселок, клан или племя, входившие в ирокезскую Лигу Хауденосауни, были разделены на две половины[164]. Это обычная модель: в других частях мира (в Амазонии, Меланезии) было установлено, что члены одной половины могли жениться только на женщине из другой или есть только ту еду, которую вырастила вторая; подобные правила были предназначены для того, чтобы обе стороны зависели друг от друга в том, что касалось удовлетворения базовых жизненных потребностей. Среди ирокезов шести племен одна сторона должна была хоронить умерших членов другой. Нет ничего

абсурднее, чем предположить, что одна сторона пожаловалась бы на то, что «в прошлом году мы похоронили пять ваших мертвецов, а вы наших — только два».

Базовый коммунизм можно считать исходным материалом социальности, признанием нашей безусловной взаимозависимости, которая лежит в основе социального мира. Однако чаще всего этой минимальной основы недостаточно. В отношениях с одними людьми мы в большей степени руководствуемся принципом солидарности, чем в отношениях с другими, а некоторые отношения основаны исключительно на принципах солидарности и взаимопомощи. В первую очередь это касается людей, которых мы любим; парадигмой бескорыстной любви является любовь матери. Далее следуют близкие родственники, жены и мужья, любовники, ближайшие друзья. С ними мы делимся всем или, по крайней мере, знаем, что можем к ним обратиться в случае нужды, — именно так повсюду определяется настоящий друг. Эта дружба может быть формализована посредством такого ритуала, как признание друг друга «закадычными друзьями» или «братьями по крови», которые не могут друг другу ни в чем отказать. В результате можно считать, что любое сообщество пронизывают отношения «индивидуалистического коммунизма», личные отношения, которые различаются по степени интенсивности, но все действуют на основе принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям»[165].

Ту же самую логику можно применить — и там она действительно работает — в рамках групп: не только рабочие коллективы, но и почти любая группа с общими интересами характеризуется тем, что создает свой тип базового коммунизма. Внутри группы определенные вещи находятся в общем пользовании или делаются бесплатно, другие вещи остальные члены группы предоставляют своему товарищу, но никогда — постороннему: например, рыбаки помогают друг другу чинить сети, офисные служащие делятся канцелярскими предметами, коммерсанты обмениваются некоторыми видами информации и т. д. Кроме того, есть категории людей, которым мы звоним в определенных ситуациях, таких как сбор урожая или переезд[166]. От этого можно перейти к различным формам совместного пользования вещами, к ситуациям, когда люди объединяют усилия во имя какой-то цели и решают, к кому можно обратиться за помощью при переезде или сборе урожая или же у кого можно взять беспроцентную ссуду в трудную минуту. Наконец, есть различные виды коллективного управления общими ресурсами.

Социология повседневного коммунизма потенциально огромное поле для исследования, но из-за идеологических шор мы не могли писать о ней, потому что не были способны ее разглядеть. Дальше о ней писать я не буду, ограничусь лишь тремя положениями.

Во-первых, здесь мы на самом деле не имеем дела с взаимностью — или разве что речь идет только о взаимности в самом широком смысле[167]. Равным с обеих сторон является знание о том, что другой человек сделал бы для вас то же самое, а не что он обязательно это сделает. Пример ирокезов ясно показывает, почему это становится возможным: такие отношения основаны на презумпции вечности. Общество будет существовать всегда, а значит, всегда будут северная и южная стороны поселка. Поэтому не нужно вести никаких записей. Со своими матерями и лучшими друзьями люди тоже обращаются так, будто они будут жить вечно, хотя и отлично знают, что это не так.

Второе положение связано со знаменитым законом гостеприимства. Есть противоречие между привычным стереотипом о так называемых первобытных обществах (народах, не знающих ни государства, ни рынков), где врагом считается любой, кто не является членом общины, и многочисленными рассказами европейских путешественников, пораженных небывалой щедростью, которую проявляли по отношению к ним «дикари». Разумеется, определенная доля истины есть и в том и в другом. Если чужак потенциально является опасным врагом, нормальный способ избежать этой опасности — сделать жест щедрости, чья широта перенесет их на почву той взаимной социальности, которая служит основой для любых мирных общественных отношений. Правда и то, что когда люди имеют дело с совершенно неведомыми им количествами, то часто имеет место процесс проверки. И Христофор Колумб на Эспаньоле, и капитан Кук в Полинезии рассказывали схожие истории об островитянах, которые убегали, нападали или предлагали им всё, но затем зачастую поднимались на корабли и брали всё, что им приходилось по вкусу, чем навлекали на себя угрозы расправы со стороны членов команды, всячески пытавшихся им объяснить, что отношения между посторонними людьми должны строиться в форме «нормального» коммерческого обмена.

Понятно, что те, кто имеет дело с потенциально враждебными чужаками, не будут склонны к компромиссам: эта напряженность сохранилась даже в этимологии английских слов host (хозяин), hostile (враждебный), hostage (заложник) и даже hospitality (гостеприимство) — все они восходят к одному и тому же латинскому корню[168]. Я здесь хочу подчеркнуть, что все эти жесты являются утрированными проявлениями того самого «базового коммунизма», который, как я уже говорил, служит основой всей человеческой общественной жизни. Именно поэтому, например, разница между друзьями и врагами так часто проявляется в пище — причем часто в самой обычной домашней еде. Согласно всем знакомому принципу, распространенному и в Европе, и на Ближнем Востоке, те, кто разделил хлеб и соль, никогда не должны причинять вред друг другу. Действительно, делятся в первую очередь теми вещами, которыми нельзя делиться с врагами. Среди нуэров, которые так легко делятся едой и повседневными вещами, если один человек убивает другого, начинается кровная вражда. Каждый житель селения должен примкнуть либо к одной, либо к другой стороне; людям из одного лагеря под страхом ужасных последствий строго запрещено есть с кем-то из другого лагеря или даже пить из чаши или миски, которой до того воспользовался кто-либо из новоявленных врагов[169]. Это создает такое неудобство, что подталкивает стороны как-то урегулировать конфликт. Точно так же часто говорят, что людям, которые разделили пищу или какой-то особый ее вид, запрещается наносить ущерб друг другу, как бы им ни хотелось это сделать. Иногда это может принимать комические формы, как в арабской истории о грабителе, который, обшаривая дом, засунул палец в кувшин, чтобы узнать, не сахар ли в нем, но обнаружил, что кувшин был полон соли. Поняв, что он отведал соли за столом хозяина дома, он почтительно положил обратно всё, что украл.

Наконец, если коммунизм считать нравственным принципом, а не просто вопросом о собственности, то становится ясно, что эта разновидность нравственности до определенной степени присутствует почти в любой сделке и даже в торговле. Если один человек находится в дружеских отношениях с другим, то он не сможет не принимать во внимание его положение. Торговцы часто снижают цены нуждающимся. Это одна из главных причин,

почему владельцы магазинов в бедных районах почти никогда не принадлежат к той же этнической группе, что и их клиенты; торговец, выросший в этих краях, не смог бы зарабатывать, поскольку его обедневшие родственники и однокашники постоянно требовали бы списать им долги или хотя бы облегчить условия кредита. Верно и обратное. Одна антрополог, прожившая некоторое время в сельских районах Явы, однажды рассказала мне, что оценивала свои познания в языке тем, насколько хорошо ей удавалось торговаться на местном базаре. Ее расстраивало, что у нее никогда не получалось платить столько же, сколько местные жители. «Ну, — объяснил ей один яванский друг, — с богатых яванцев они тоже берут больше».

И снова мы вернулись к принципу, гласящему, что если потребности (например, ужасающая бедность) или способности (например, невообразимое богатство) достаточно велики, то при наличии минимальной социальности в расчеты людей неизбежно будет вплетаться коммунистическая нравственность в той или иной степени[170]. Турецкая народная сказка о средневековом суфийском мистике Ходже Насреддине показывает, насколько это осложняет сам принцип спроса и предложения:

> *Однажды, когда Насреддина оставили за главного в местной чайхане, в нее зашли позавтракать шах и несколько его приближенных, охотившихся неподалеку.*
>
> *— У тебя есть перепелиные яйца? — спросил царь.*
>
> *— Несколько штук я точно найду, — ответил Насреддин.*
>
> *Шах заказал омлет из дюжины перепелиных яиц, и Насреддин побежал за ними. После того как шах и его свита поели, он взял с них сотню золотых монет.*
>
> *Шах был ошарашен:*
>
> *— Неужели перепелиные яйца — такая редкость в этих краях?*
>
> *— Редкость здесь не перепелиные яйца, — отвечал Насреддин, — а посещения шаха.*

# *** Обмен

Таким образом, коммунизм не основан ни на обмене, ни на взаимности — если только, как я отмечал, речь не идет об обоюдных ожиданиях и ответственности. Но даже здесь, наверное, лучше использовать другое слово («обоюдность»?), для того чтобы подчеркнуть, что обмен строится на совершенно иных принципах и представляет собой нравственную логику совсем иного типа.

Обмен означает прежде всего равноценность. Это процесс, протекающий между двумя сторонами, каждая из которых дает столько, сколько получает. Именно поэтому можно говорить об обмене словами (если ведется спор), ударами и даже выстрелами[171]. В этих примерах нет полной равноценности, пусть даже ее и можно было бы как-то измерить, но есть постоянный процесс взаимодействия, стремящийся к равноценности. На самом деле в этом есть определенный парадокс: во всех случаях каждая сторона пытается одолеть другую, но если только одной стороне в прямом смысле не проламывают голову, то самым простым решением дела будет достижение такого положения, при котором оба участника считают результат более или менее равным. Когда мы переходим к обмену материальными предметами, мы встречаем то же напряжение. Часто возникает элемент соревнования, ну или, по крайней мере, вероятность этого всегда есть. Но в то же время есть ощущение, что обе стороны ведут подсчет и что, в отличие от коммунизма, в котором всегда есть определенное представление о вечности, отношения обмена могут быть сведены на нет и каждая сторона может выйти из них в любой момент.

Этот соревновательный элемент может работать совершенно по-разному. В случае мены или торгового обмена, когда обе стороны сделки интересует лишь стоимость обмениваемых товаров, они могут — а экономисты настаивают, что и будут, — стремиться получить максимальную материальную выгоду. С другой стороны, как уже давно выяснили антропологи, когда происходит обмен подарками, то есть когда переходящие из рук в руки предметы представляют интерес с точки зрения того, насколько они отражаются на отношениях между участниками сделки и помогают их наладить, соревновательный элемент будет действовать совсем иначе: это будет спор о том, кто щедрее, кто может отдать больше.

Рассмотрим каждый пример по отдельности.

Отличительной стороной торгового обмена является его «безличность»: в принципе, не имеет никакого значения, кто именно нам что-то продает или что-то у нас покупает. Мы просто сравниваем стоимость двух предметов. Но здесь, как и в случае любого другого принципа, реальность редко когда полностью ему соответствует. Для совершения сделки необходимо минимальное доверие, а это — если только вы не имеете дело с торговым автоматом — требует некоторого внешнего проявления общительности. Даже в самом безличном торговом центре или супермаркете продавцы должны, по крайней мере, изображать личную теплоту, терпение и другие качества, внушающие доверие; на ближневосточном базаре нужно пройти через сложный процесс установления показной дружбы, вместе выпить чаю, поесть или покурить, прежде чем приступить к столь же сложной процедуре торга: интересный ритуал, который начинается с завязывания общения на основе базового коммунизма и затем перетекает в затяжной шуточный спор о цене. Всё это делается исходя из допущения, что покупатель и продавец хотя бы в этот момент являются друзьями (а значит, каждый имеет право разгневаться и возмутиться, если другой выдвигает непомерные требования), хотя всё это выглядит как небольшая театральная пьеса. Когда предмет перешел к новому владельцу, оба участника торга не думают, что когда-либо еще будут иметь дело друг с другом[172].

Чаще всего такой торг — на Мадагаскаре он передается термином miady varotra, буквально означающим «выбить скидку», — может сам по себе быть источником удовольствия.

На Аналакели, большой вещевой рынок в столице Мадагаскара, я впервые пришел с моей подругой, которая собиралась купить свитер. Весь процесс занял около четырех часов. Дело было так: моя подруга замечала в какой-нибудь палатке подходящий свитер, спрашивала цену и затем начинала долгий изощренный спор с продавцом, неизменным атрибутом которого были театральные жесты возмущения и обиды и уход с показным разочарованием. Часто казалось, что девяносто процентов времени спора уходило на торг из-за ничтожной разницы в несколько ариари (пара центов), которая становилась делом принципа для каждой стороны, и неготовность торговца их уступить могла погубить всю сделку.

Во второй раз я пришел на Аналакели с другой подругой, тоже молодой женщиной. У нее был список предметов одежды, которые ее попросила купить сестра. В каждой палатке она действовала одинаково: просто заходила и спрашивала цену.

Продавец называл цену.

— Хорошо, — отвечала она, — а окончательная цена какая?

Он говорил, и она доставала деньги.

— Погоди-ка, — спросил ее я. — Разве так можно?

— Конечно, — ответила она. — Почему нет?

Я рассказал ей, как было дело с другой моей подругой.

— Ну да, — сказала она, — некоторым людям это нравится.

Обмен позволяет нам избавиться от долгов. Он дает нам возможность расквитаться, а значит, завершить отношения. С продавцами мы обычно вообще создаем лишь видимость отношений. Соседям именно по этой причине мы предпочитаем долги не выплачивать. Лора Боханнэн так описала свой приезд в селение народа тив, расположенное в одном из сельских районов Нигерии. Соседи немедленно начали приносить ей небольшие подарки: «два кукурузных початка, кабачок, цыпленок, пять помидоров, пригоршня арахиса»[173]. Не имея представления о том, чего от нее ожидали, она их поблагодарила и записала в блокнот их имена и то, что они принесли. Со временем две женщины приняли ее к себе и объяснили, что такие подарки нужно возвращать. Считалось совершенно недопустимым просто принять три яйца от соседа и ничего не принести ему взамен. Возвращать нужно было не яйца, а что-то приблизительно равное по стоимости. Можно было дать денег — в этом не было ничего зазорного, при условии что это делалось через некоторое время и, самое главное, отдавалась не точная стоимость яиц, а немного больше или немного меньше. Если человек ничего взамен не давал, то его считали эксплуататором или паразитом. Если он возвращал точную стоимость, то это означало, что он не хочет больше иметь ничего общего с соседом. Она узнала, что женщины народа тив могли потратить бóльшую часть дня на то, чтобы добраться до отдаленного дома — вернуть пригоршню охры или немного чего-то еще, «что

создавало бесконечный круг подарков, в котором никто не возвращал другому точную стоимость последнего полученного им предмета», — тем самым они постоянно воссоздавали свое общество. В этом, безусловно, есть коммунистические черты: соседи, находящиеся в добрых отношениях, могли также рассчитывать на взаимопомощь в трудных ситуациях, но, в отличие от коммунистических отношений, которые по умолчанию являются неизменными, соседство такого рода должно было постоянно создаваться заново и поддерживаться, поскольку связи могли быть прерваны в любой момент.

Есть бесчисленное количество вариаций этого обмена подарками по принципу «ты мне, я тебе». Самый обычный пример — обмен угощениями: я покупаю кому-то пиво, он мне покупает следующее. Полная равноценность подразумевает равенство. Но возьмем немного более сложный пример: я веду друга на ужин в модный ресторан; через некоторое время он делает то же самое. Антропологи уже давно отметили, что само существование таких обычаев и особенно ощущение, что услугу надо возвращать, нельзя объяснить с помощью стандартной экономической теории, которая предполагает, что любое взаимодействие между людьми представляет собой деловую сделку и что всеми нами движут личные интересы, побуждающие нас добиваться максимума по минимальной цене или с приложением минимальных усилий[174]. Но это ощущение вполне реально, и оно может вызвать большое неудобство у людей, стесненных в средствах, но не желающих потерять лицо. Так почему если я свожу на ужин в дорогой ресторан экономиста, придерживающегося теории свободного рынка, то он будет испытывать некоторую неловкость и дискомфорт до тех пор, пока не вернет мне это одолжение? Почему он будет хотеть отвести меня в еще более дорогой ресторан, если он считает меня своим конкурентом?

Вспомните пиршества и празднества, о которых шла речь выше: здесь тоже есть основа для общения и шутливого (а иногда и не такого уж шутливого) соревнования. С одной стороны, это всем приносит удовольствие — в конце концов, сколько людей действительно захотят отужинать в шикарном французском ресторане в гордом одиночестве? С другой стороны, дело может легко перерасти в игру, участники которой стремятся стать первыми, испытывают манию, унижение, ярость… или, как мы скоро увидим, нечто худшее. В некоторых обществах такие игры формализованы, но важно подчеркнуть, что они могут вестись только между людьми или группами, которые считают друг друга более или менее равными по статусу[175]. Вернемся к нашему воображаемому экономисту: он совсем необязательно будет испытывать неловкость всякий раз, когда кто-то его угощает или приглашает на ужин. Это произойдет в том случае, если он считает, что пригласивший его человек приблизительно равен ему по статусу или по званию — например, коллега. Но если на ужин его пригласит Билл Гейтс или Джордж Сорос, то он, скорее всего, решит, что действительно получил нечто, не приложив к этому никаких усилий, и в ответ ничего делать не станет. Если то же самое сделает молодой коллега, желающий его к себе расположить, или амбициозный аспирант, он, наверное, решит, что делает одолжение, принимая это приглашение, — если вообще его примет, что маловероятно.

Именно это происходит в обществах, где существуют тонкие градации статуса и достоинства. Пьер Бурдье описал «диалектику вызова и ответа», которая доминирует во всех играх чести среди кабилов, народа группы берберов, проживающего в Алжире. У них

обмен оскорблениями, нападениями (в случае вражды или столкновений), кражами или угрозами следовал той же логике, что и обмен подарками[176]. Преподнести подарок — это одновременно и честь, и провокация. Чтобы ответить на него, нужно обладать немалым мастерством. Выбор момента имеет первостепенное значение, равно как и сам ответный подарок, который должен быть не просто другим, но и немного более ценным. Здесь царит негласный нравственный принцип, требующий от человека выбрать такой подарок, который соответствует его положению. Человек, бросающий вызов тому, кто старше, богаче и авторитетнее, рискует получить выговор или даже подвергнуться унижению; сделать бедному, но уважаемому человеку подарок, который тот не сможет вернуть, просто жестоко и нанесет вашей репутации ущерб. На эту тему есть одна индонезийская история: богач принес в жертву великолепного вола, чтобы устыдить бедного соперника; бедняк унизил его и выиграл спор, спокойно принеся в жертву цыпленка[177].

Игры такого рода становятся особенно сложными, когда предстоит определенная борьба за статус. Когда предмет спора слишком хорошо очерчен, это создает специфические проблемы. Поднесение подарков царям зачастую является особенно хитроумным и сложным делом. Проблема здесь состоит в том, что никто не может сделать подарок, достойный царя (за исключением разве что другого царя), поскольку у него по определению и так уже всё есть. С другой стороны, предполагается, что человек предпримет разумное усилие:

> *Однажды Насреддина позвали к шаху. Сосед увидел, как он спешит по дороге, неся сумку с репой.*
>
> *— Зачем тебе это? — спросил он.*
>
> *— Меня позвали к шаху. Я подумал, что лучше будет принести какой-нибудь подарок.*
>
> *— И ты несешь ему репу? Это же крестьянская еда! А он шах! Тебе следовало бы отнести ему что-то более соответствующее, например виноград.*
>
> *Насреддин согласился и пришел к шаху с гроздью винограда. Шаха это не позабавило. «Ты даешь мне виноград? Я же шах! Это просто смешно. Выведите этого идиота и обучите его хорошим манерам. Бросьте в него все виноградинки одну за другой, а затем вышвырните его из дворца».*
>
> *Шахские стражники затащили Насреддина в боковую комнату и стали кидать в него виноградом. Пока они это делали, он упал на колени и стал кричать: «Спасибо, спасибо тебе, Аллах, за твою безграничную милость!» — «Почему ты благодаришь Аллаха? — спросили они. — Ты ведь полностью унижен!» Насреддин ответил: «Я просто подумал: слава Аллаху, что я не принес репу».*

С другой стороны, если дать царю что-то, чего у него еще нет, это может создать вам еще большие трудности. Одна расхожая история времен ранней Римской империи рассказывала об изобретателе, который с большой помпой преподнес в дар императору Тиберию стеклянную чашу. Император был озадачен: что такого особенного в куске стекла? Изобретатель уронил ее на пол. Она не разлетелась вдребезги, на ней лишь осталась вмятина. Он поднял ее и, просто надавив, вернул прежнюю форму.

«Ты рассказывал кому-нибудь еще, как ты это делаешь?» — встревоженно спросил Тиберий.

Изобретатель уверил его, что нет. Тогда император приказал его убить, поскольку если бы стал известен секрет изготовления стекла, которое не бьется, то его золотые и серебряные сокровища лишились бы всякой ценности[178].

Для того, кто имел дело с царем, самым разумным было проявить разумное усилие, чтобы сыграть в эту игру, но при этом обязательно проиграть. Арабский путешественник XIV века Ибн Баттута рассказывает об обычаях внушавшего всем ужас царя Синда, который получал особое наслаждение, проявляя свою деспотическую власть[179]. Важные гости из-за рубежа, посещавшие монарха, имели обыкновение делать ему великолепные подарки; но каким бы ни был подарок, в ответ царь всегда дарил нечто намного превосходящее его по стоимости. Это положило основу серьезному бизнесу, поскольку местные банкиры стали одалживать таким гостям деньги на покупку особенных подарков, уверенные в том, что царское тщеславие обеспечит им хороший барыш. Царь, по-видимому, об этом знал, но не возражал, так как важнее всего для него было показать, что его богатство не имеет равных; кроме того, он знал, что в случае нужды всегда сможет отобрать собственность у банкиров. Цари знали, что самой главной ставкой в игре были не деньги, а статус, в котором никто не мог их превзойти.

При обмене вещи, являющиеся предметом сделки, считаются равноценными. Косвенно то же происходит и с людьми, по крайней мере в тот момент, когда на подарок отвечают подарком или деньги переходят из рук в руки; когда долги или обязательства между сторонами погашены и каждая из них может отправляться восвояси. Это, в свою очередь, подразумевает автономию. Монархам оба этих принципа не по душе, поэтому они, как правило, обмен не любят[180]. Но в рамках этой конечной перспективы возможного списания долгов и безусловного равенства мы обнаруживаем бесчисленное количество вариаций и игр, в которые можно играть. Вы можете попросить что-то у другого человека, зная, что тем самым даете ему право попросить взамен нечто соответствующей стоимости. В некоторых ситуациях даже похвала в адрес вещи, принадлежащей другому, может быть воспринята как просьба такого рода. В XVIII веке английские поселенцы в Новой Зеландии быстро смекнули, что не стоит заглядываться, например, на красивую нефритовую подвеску на шее воина маори; он немедленно вам ее отдаст и не примет отказа, а через некоторое время вернется и начнет нахваливать пальто или ружье поселенца. Единственный способ избежать этого состоял в том, чтобы быстро дать ему подарок, прежде чем он попросит какую-нибудь вещь. Иногда подарки преподносятся для того, чтобы человек, делающий их, мог что-то попросить: если вы принимаете подарок, то этим негласно соглашаетесь с тем, что даритель может попросить равноценную, по его мнению, вещь[181].

Всё это, в свою очередь, может незаметно превратиться в подобие меновой торговли, где предметами обмениваются напрямую, — а это, как мы видели, происходит даже в том, что Марсель Мосс любил называть «экономиками дара», хотя в основном между посторонними людьми[182]. Члены общин, как прекрасно иллюстрирует пример народа тив, почти никогда не стремятся положить этому конец — это одна из причин, почему там, где деньги имеют широкое хождение, люди зачастую отказываются использовать их в отношениях с друзьями или родственниками (а в деревне почти все друг другу приходятся либо теми, либо другими) или же, подобно мальгашам, описанным в третьей главе, используют их совершенно по-иному.

# Иерархия

Таким образом, обмен подразумевает формальное равенство или, по крайней мере, вероятность его. Именно поэтому у царей с ним возникают такие проблемы.

В отличие от обмена явно иерархические отношения, то есть такие, в которых участвуют минимум две стороны и одна из них превосходит другую, не имеют никакой тенденции к взаимности. Это трудно заметить, поскольку часто такие отношения оправдываются понятиями взаимности («крестьяне обеспечивают еду, сеньоры — защиту»), но принцип, на которых они основаны, ровно противоположный. На практике иерархия исходит из прецедентной логики.

Чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду, представим некий диапазон односторонних социальных отношений, варьирующихся от исключительно своекорыстных до максимально великодушных. На одном краю находится воровство или грабеж, на другом — бескорыстная благотворительность[183]. Лишь в этих двух крайних точках возможно материальное взаимодействие между людьми, которые в другой ситуации не будут иметь вообще никаких социальных отношений. Только сумасшедший отправится грабить своего ближайшего соседа. Банда мародерствующих солдат или кочующие всадники, которые нападают на крестьянскую деревушку и насилуют и грабят ее жителей, тоже не будут налаживать долгосрочные отношения с теми, кто выжил. В то же время религиозные традиции часто требуют, чтобы подлинная благотворительность была анонимной; иными словами, ее получатель не должен оказаться ни перед кем в долгу. Крайней формой, распространенной в разных частях света, является поднесение подарка украдкой — своего рода кража наоборот, когда кто-то проникает ночью в дом получателя и оставляет подарок, так чтобы никто не мог узнать, кто это сделал. Фигура Санта-Клауса, или святого Николая (который — об этом нужно помнить — был святым покровителем не только детей, но и воров), представляет собой мифологическую версию того же самого принципа: благожелательный грабитель, с которым социальные отношения невозможны и которому, соответственно, никто ничего не может быть должен, прежде всего потому, что он на самом деле не существует.

Обратите, однако, внимание на то, что произойдет, если не подходить так близко к крайним точкам этого диапазона. Мне рассказывали (подозреваю, что это неправда), что где-то в Белоруссии бандиты настолько часто грабили пассажиров поездов и автобусов, что взяли в

привычку давать каждой жертве небольшой значок, подтверждавший, что его обладатель уже был ограблен. Разумеется, это шаг по направлению к созданию государства. Одна распространенная теория происхождения государства, которая восходит по меньшей мере к североафриканскому историку XIV века Ибн Халдуну, основана на схожем предположении: кочевые грабители со временем упорядочивают свои отношения с оседлыми жителями, грабежи превращаются в дань, а изнасилования — «в право первой ночи» или в отправку подходящих девушек в царский гарем. Завоевание, грубая сила обретают форму не хищнических, а нравственных отношений, в рамках которых сеньоры обеспечивают защиту, а сельские жители — их существование. Но даже если все стороны считают, что действуют на основе общего свода нравственных норм и даже цари не могут делать что хотят, а вынуждены их соблюдать и позволять крестьянам спорить о том, насколько справедлива доля урожая, которую у них могут забирать царские слуги, то они, скорее всего, будут исходить не из оценки качества или количества полученной защиты, а из обычаев и прецедента: сколько мы платили в прошлом году? сколько должны были платить наши родители? То же верно и для другой стороны диапазона. Если благотворительные пожертвования становятся основой каких-либо социальных отношений, то эти отношения не будут исходить из принципа взаимности. Если вы даете пару монет попрошайке, то он вряд ли даст вам денег, когда снова вас увидит; скорее, он будет считать, что это вы должны опять дать ему денег. Это, естественно, относится и к пожертвованиям в пользу благотворительных организаций. (Однажды я дал денег Объединению сельскохозяйственных рабочих, так оно до сих пор от меня не отстало.) Подобный односторонний жест щедрости рассматривается как прецедент того, что будет происходить далее[184]. Приблизительно то же происходит, когда вы даете ребенку конфетку.

Именно это я имею в виду, когда говорю, что иерархия исходит из принципа, совершенно противоположного взаимности. Всякий раз, когда границы превосходства и подчинения четко проведены и признаются всеми сторонами как рамки, в которых осуществляются отношения, а сами отношения достаточно долгосрочны и не основываются исключительно на грубой силе, регулировать их будет набор устоявшихся норм или обычаев. Иногда обоснованием иерархии считается факт завоевания. Или же она может считаться настолько древней, что объяснения ей не требуется. Но это еще больше усложняет проблему поднесения подарков царям или любому вышестоящему лицу, поскольку всегда есть опасность, что оно будет воспринято как прецедент, включено в число обычаев и далее станет считаться обязательным. Ксенофонт утверждал, что на заре существования Персидской империи ее провинции состязались друг с другом, отправляя в качестве дара Великому царю свои уникальные и самые ценные товары. Это стало основой системы выплаты дани: от каждой провинции требовалось, чтобы она ежегодно подносила одни и те же «дары»[185]. Похожую ситуацию описывает великий историк Средневековья Марк Блок:

> “В девятом веке, когда однажды в королевских погребах в Вере случилась нехватка вина, монахов аббатства Сен-Дени попросили поставить двести недостающих бочек. Затем от них стали требовать делать это подношение ежегодно, и понадобилось издать императорскую хартию, чтобы его отменить. В Адре, как нам говорили, некогда был медведь, принадлежавший местному сеньору. Местные жители, любившие смотреть, как он дерется с

> собаками, стали его кормить. Через некоторое время зверь умер, но сеньор продолжал взимать с крестьян ломти хлеба[186].

Иными словами, любой подарок феодальному сеньору, «особенно если он повторялся три-четыре раза», по-видимому, рассматривался как прецедент и пополнял свод обычаев. В результате те, кто делал подарки вышестоящим лицам, часто просили выдать им «письмо о ненанесении ущерба», юридически закреплявшее тот факт, что этого подарка от них не будут требовать в будущем. Несмотря на то что такая степень формализации достигалась редко, любые социальные отношения, изначально считающиеся неравными, неизбежно будут исходить из схожей логики хотя бы потому, что, если считается, что они основаны на «обычае», единственный способ доказать, что человек обязан что-то делать, заключается в том, чтобы продемонстрировать, что он это делал и раньше.

Зачастую такие соглашения порождают кастовую логику: некоторые кланы обязаны шить церемониальную одежду, поставлять рыбу на царские пиры или стричь царю волосы. Их начинают считать ткачами, рыбаками или цирюльниками[187]. Это последнее утверждение не стоит переоценивать, поскольку оно доказывает и другую истину, которую постоянно упускают из виду и которая состоит в том, что логика идентичности везде и всегда вплетена в логику иерархии. Лишь когда одни люди стоят выше других или когда место каждого в обществе определяется его положением относительно царя, первосвященника или отцов-основателей, можно говорить о том, что положение людей обусловлено их сущностью, то есть о том, что есть принципиально различные виды людей. Кастовые или расовые идеологии лишь крайние примеры этого. Это происходит всякий раз, когда начинают считать, что одна группа ставит себя выше или ниже остальных, из-за чего обычные принципы честного ведения дел к ней неприменимы.

На самом деле нечто подобное случается в меньшем масштабе даже в самых близких социальных отношениях. Как только мы признаем, что кто-то является человеком другого рода, стоящим выше или ниже нас, обычные правила взаимности меняются или вовсе перестают действовать. Если однажды друг проявляет к нам необычную щедрость, мы, скорее всего, попытаемся ответить ему тем же. Если же он поступит так несколько раз, мы сделаем вывод, что он щедрый человек, и будем менее склонны проявлять взаимность[188].

Здесь можно вывести простую формулу: некое повторяющееся действие становится обычаем и, как следствие, начинает определять сущность выполняющего его человека. С другой стороны, эта сущность может быть обусловлена и тем, как другие люди вели себя по отношению к этому человеку в прошлом. Быть аристократом прежде всего означает, что в прошлом другие люди относились к вам как к аристократу (поскольку аристократы на самом деле ничем особенным не заняты: большинство из них в основном только и делают, что осознают свое превосходство над другими) и потому должны вести себя так и впредь. Искусство быть таким человеком по большей части заключается в том, чтобы относиться к себе так, как, по вашему мнению, к вам должны относиться другие: цари, например, покрывают себя золотом, давая понять остальным, что те тоже должны так делать. На другом конце шкалы это объясняет, как злоупотребление само себя узаконивает. Как отмечала моя бывшая студентка Сара Стиллман, если в США похищают, насилуют и убивают тринадцатилетнюю девочку из среднего класса, то это считается национальной трагедией,

за развитием которой каждый должен следить по телевидению на протяжении нескольких недель. Если же выясняется, что тринадцатилетняя девочка — несовершеннолетняя проститутка, которую регулярно насиловали на протяжении нескольких лет и в конце концов убили, то этому событию не придают значения, поскольку думают, что рано или поздно оно должно было случиться[189].

Когда предметы материального благосостояния циркулируют между высшими и низшими классами в виде подарков или платежей, ключевой принцип здесь, видимо, заключается в том, что вещи, которые дарятся, считаются совершенно отличными друг от друга по качеству, их относительную стоимость невозможно установить, — тогда о сведении счетов нельзя будет даже помыслить. Хотя средневековые писатели и изображали общество как иерархическую структуру, в которой священники за всех молятся, знать за всех сражается, а крестьяне всех кормят, никому из них в голову не приходило определять, сколько молитв или военной защиты соответствовало одной тонне зерна. Никто и не пытался провести такой подсчет. И люди «низшего» сорта совсем необязательно получали вещи низшего сорта, а верхам доставалось только лучшее. Иногда всё было ровно наоборот. До недавних пор почти каждый известный философ, художник, поэт или музыкант должен был найти себе состоятельного покровителя. Сегодня это кажется странным, но знаменитым поэтическим или философским произведениям зачастую предшествует напыщенное и льстивое восхваление мудрости и добродетельности какого-нибудь давно забытого графа или князя, который обеспечил автору скудное жалованье. Тот факт, что знатный покровитель просто предоставил проживание и питание или деньги, а клиент выразил свою благодарность, нарисовав «Мону Лизу» или сочинив «Токкату и фугу ре-минор», ни в коей мере не ставил под сомнение очевидное превосходство вельможи.

Из этого принципа есть одно значимое исключение, а именно феномен иерархического перераспределения. Однако в этом случае циркулируют не вещи одного вида, а ровно та же самая вещь: например, когда фанаты некоторых нигерийских поп-звезд во время концертов бросают на сцену деньги, поп-звезды затем проезжают по кварталам, где живут их фанаты, и разбрасывают (те же самые) деньги из окон своих лимузинов. В большей части Папуа — Новой Гвинеи социальная жизнь концентрируется вокруг «бигменов», харизматических личностей, которые бóльшую часть времени тратят на уговоры, умасливания и манипуляции, для того чтобы приобрести богатства, которые они затем раздают на каком-нибудь большом пиршестве. Отсюда можно перейти к примеру индейских вождей Амазонии или Северной Америки. В отличие от бигменов их роль более формализована; но у этих вождей нет права требовать от других людей то, чего те отдавать не хотят (этим объясняется знаменитое красноречие и умение убеждать, свойственное вождям североамериканских индейцев). В результате они, как правило, отдавали намного больше, чем получали. Наблюдатели часто отмечали, что с имущественной точки зрения вождь зачастую был самым бедным человеком в селении, из-за того что от него постоянно требовалось проявлять щедрость.

На самом деле оценить, насколько эгалитарным было то или иное общество, можно по тому, являлись ли обладатели внешних атрибутов власти простыми инструментами перераспределения, или же они могли использовать свое положение для накопления богатства. Последнее более вероятно в аристократических обществах, в которых

появляется еще один элемент — война и грабеж. В конце концов, каждый, кто получает в наследство большое богатство, непременно отдаст множеству людей хотя бы часть его — зачастую в ходе великолепной церемонии. Чем большая часть богатства получена путем грабежа и вымогательства, тем более вычурными будут формы его раздачи[190]. То, что справедливо для военных аристократий, тем более справедливо для древних государств, правители которых почти всегда выставляли себя защитниками беспомощных, кормильцами вдов и сирот и покровителями бедняков. Истоки современного перераспределяющего государства с его явным стремлением способствовать выработке определенной идентичности можно усматривать не в каком-то «первобытном коммунизме», а в насилии и войне.

# Перемещение между модальностями

Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь мы ведем речь не о разных типах общества (как мы видели, сама идея, что мы организованы в обособленные «общества», сомнительна), а о нравственных принципах, которые везде и всегда сосуществуют. Все мы коммунисты в отношениях с нашими близкими друзьями и феодальные сеньоры, когда общаемся с маленькими детьми. Очень трудно представить общество, где люди не будут тем и другим.

Очевидный вопрос заключается в следующем: если все мы обычно движемся туда-обратно между совершенно разными системами нравственного учета, почему никто этого не заметил? Почему мы постоянно чувствуем необходимость переосмысливать всё в категориях взаимности?

Здесь мы возвращаемся к тому факту, что взаимность — главная форма нашего представления о справедливости. Именно к ней мы обращаемся, когда думаем абстрактно и особенно когда пытаемся создать идеализированный образ общества. Я уже приводил примеры такого рода. Ирокезские общины были основаны на идеале, который требовал, чтобы каждый был чуток к потребностям людей разного рода: друзей, семей, членов своих матрилинейных кланов и даже дружественно настроенных чужаков, оказавшихся в трудной ситуации. Именно когда им пришлось думать об обществе в абстрактных категориях, они начали выделять две стороны селения, каждая из которых должна хоронить мертвецов другой. Это была форма выражения коммунизма через взаимность. Феодализм был очень запутанной и сложной системой, но всякий раз, когда средневековые мыслители размышляли о нем, они сводили все его слои и классы к простой формуле, в которой каждый класс вносил свою лепту: «Одни молятся, другие сражаются, третьи работают»[191]. Даже иерархия рассматривалась прежде всего в терминах взаимности, хотя эта формула не имела ничего общего с подлинными отношениями между реально существовавшими священниками, рыцарями и крестьянами. Антропологам такой феномен знаком: когда людей, которым прежде не доводилось думать о своем обществе или культуре как о некоем целом и которые, возможно, даже не замечали, что живут в чем-то, что другие люди считают «обществом» или «культурой», просят объяснить, как всё устроено, они говорят что-то вроде «так мы расплачиваемся с нашими матерями за те лишения, которые они претерпели, воспитывая нас» или ломают голову над концептуальными диаграммами, в которых клан А отдает своих женщин замуж в клан Б, отдающий своих клану В, отдающему

своих клану А, но которые никогда точно не соответствуют тому, что люди на самом деле делают[192]. Когда мы пытаемся представить справедливое общество, в нашем воображении обязательно всплывают образы баланса и симметрии, элегантные геометрические формы, в которых всё друг друга уравновешивает.

Мысль о том, что есть нечто под названием «рынок», не сильно от этого отличается. Экономисты часто это признают, если правильно задать им вопрос. Рынки не существуют в реальности. Это математические модели, которые создаются, когда мы представляем себе замкнутый мир, в котором все обладают одной и той же мотивацией и одними и теми же знаниями и вовлечены в один и тот же обмен, основанный на учете личных интересов. Экономисты знают, что реальность всегда устроена сложнее, и знают, что для разработки математической модели миру нужно придать определенную схематическую форму. Ошибки тут никакой нет. Проблема возникает тогда, когда это позволяет некоторым людям (зачастую всё тем же экономистам) заявлять, что всякий, кто не учитывает веления рынка, обязательно будет наказан или что раз мы живем в рыночной системе, то всё в ней (за исключением вмешательства правительства) основано на принципах справедливости, а наша экономическая система представляет собой единую широкую сеть взаимных отношений, в которой в итоге счета уравновешивают друг друга, а долги выплачиваются.

Эти принципы переплетаются друг с другом, из-за чего часто трудно определить, какой из них преобладает в данной конкретной ситуации, — это еще одна причина, по которой смешно претендовать на то, что человеческое поведение в экономической или любой другой сфере можно свести к какой-то математической формуле. Тем не менее это означает, что наличие определенной взаимности можно обнаружить в любой ситуации, благодаря чему убежденный в своей правоте наблюдатель всегда может найти повод для того, чтобы сказать, что взаимность в ней присутствует. Более того, некоторым принципам присуще свойство перетекать в другие. Например, многие иерархические отношения могут действовать (по крайней мере, какое-то время) на основе коммунистических принципов. Если у вас есть богатый покровитель, то, оказавшись в стесненном положении, вы приходите к нему в надежде, что он вам поможет. Но до определенной степени. Никто не ждет, что помощь покровителя окажется настолько щедрой, что поставит под вопрос существующее между вами неравенство[193].

Подобным же образом коммунистические отношения легко могут начать перерастать в отношения иерархического неравенства, причем люди часто этого даже не замечают. Нетрудно понять, почему это происходит. Иногда различные «способности» и «потребности» людей сильно друг другу не соответствуют. Поистине эгалитарные общества остро это осознают и пытаются разработать защитные меры против опасностей, исходящих от человека (допустим, от хорошего охотника в охотничьем обществе), который слишком возвысился; подозрительно они относятся и ко всему, что может заставить одного члена общества чувствовать себя в настоящем долгу перед другим. Тот, кто хвалится своими достижениями, становится объектом насмешек. Зачастую единственное допустимое поведение для человека, добившегося чего-либо, — это посмеяться над самым собой. Датский писатель Петер Фрейхен в своей «Книге эскимосов» рассказывал, что в Гренландии оценить, насколько деликатно хозяин предлагает угощение своим гостям, можно по тому, как он сначала умалил свои заслуги:

> Старик засмеялся. «Некоторые люди многого не знают. Я лишь бедный охотник, а моя жена — ужасный повар, который всё портит. У меня мало что есть, но, по-моему, снаружи есть кусок мяса. Наверное, остался после того, как собаки несколько раз отказались его есть».

От такой эскимосской рекомендации, представлявшей собой похвальбу наоборот, у всех потекли слюнки…

Читатель помнит охотника за моржами из предыдущей главы, который обиделся, когда автор попытался его поблагодарить за то, что тот поделился мясом, — в конце концов, люди помогают друг другу, и если мы относимся к чему-то как к подарку, то теряем свою человеческую сущность: «Мы здесь говорим, что подарками человек обретает рабов, а плетью — собак»[194].

«Подарок» здесь не означает нечто, что дарится свободно, или взаимопомощь, которую мы обычно ожидаем от людей. Благодарить кого-то означает, что он или она могли этого не делать и что, соответственно, решение поступить таким образом создает обязательство, ощущение долга и, следовательно, подчинения. Коммуны и эгалитарные сообщества в Соединенных Штатах часто сталкиваются с подобными дилеммами и вынуждены вырабатывать собственные защитные механизмы против ползучего наступления иерархии. Перетекание коммунизма в иерархию не является неизбежным — такие общества, как эскимосское, тысячелетиями его не допускали, — но его всегда стоит остерегаться.

В то же время очень трудно — а зачастую просто невозможно — преобразовать отношения, основанные на принципах коммунистического совместного пользования, в отношения равного обмена. Это можно увидеть, когда мы общаемся с друзьями: если кажется, что кто-то пользуется вашей щедростью, то часто намного проще разорвать эти отношения, чем потребовать, чтобы этот человек с вами расплатился. Крайним примером этого служит история маори об известном обжоре, который досаждал рыбакам, промышлявшим у берега близ его дома, постоянными просьбами отдать ему лучшую часть улова. Поскольку отказать в прямой просьбе было практически невозможно, они покорно это терпели, пока однажды не решили, что с них хватит, и не убили его[195].

Мы уже видели, что для создания почвы для общения между чужаками зачастую требуется сложный процесс проверки, насколько другая сторона готова делиться своей собственностью. То же самое может происходить, когда заключается мир или даже начинается деловое партнерство[196]. На Мадагаскаре мне рассказывали, что два человека, которые хотят вести бизнес вместе, часто становятся братьями по крови. Кровное братство, или фатидра, заключается в обещании безграничной взаимопомощи. Оба партнера торжественно клянутся, что никогда не откажут друг другу в просьбе. На деле партнеры, заключающие такое соглашение, обычно тщательно продумывают, что они будут друг у друга просить. Мои друзья утверждали, что, когда люди впервые заключают такое соглашение, они иногда устраивают проверку. Один может попросить дом другого, рубашку с его плеча или (это любимый пример у всех) право провести ночь с его женой. Единственное ограничение — понимание того, что всё, что ни попросит один, у него может попросить второй[197]. Здесь мы тоже говорим об изначальном установлении доверия.

Когда искренность взаимных обязательств подтверждена и почва, так сказать, подготовлена, то эти два человека могут начать покупать и продавать товары с общего склада, предоставлять друг другу денежные средства, делить прибыль и верить, что каждый отныне будет заботиться о коммерческих интересах другого. Самый драматичный момент наступает, когда отношения обмена грозят перерасти в иерархию, то есть когда оба действуют как равные стороны, обмениваются подарками, руганью, товарами или чем-то еще, но один из них вдруг делает что-то из ряда вон выходящее.

Я уже упоминал свойственную обмену подарками тенденцию превращаться в игру, где каждый пытается стать первым, и говорил, что в некоторых обществах она обретает форму масштабного соревнования. Это типично прежде всего для обществ, часто называемых «героическими», то есть таких, в которых правительства либо слабы, либо вовсе не существуют и общество строится вокруг знатных воинов, каждый из которых окружен верной дружиной и связан с другими постоянно меняющимися союзами и соперничеством. Большинство эпических поэм, от «Илиады» до «Махабхараты» и «Беовульфа», обращаются к такой модели, а антропологи обнаружили подобную структуру у маори в Новой Зеландии и у племен квакиутлей, тлингитов и хайда на северо-западном побережье Америки. В героических обществах закатывание пиров и вытекающее из него состязание в щедрости часто считаются простым продолжением войны — «борьба при помощи собственности» или «борьба при помощи еды». Те, кто закатывает такие пиры, часто красочно описывают, как их враги сокрушены и подавлены проявлениями ослепительной щедрости, направленными против них (вожди квакиутлей любили называть себя большими горами, с которых дары катятся как огромные валуны), и как покоренные соперники обращены в рабство — почти как в эскимосской метафоре.

Такие утверждения не следует воспринимать буквально: другой чертой подобных обществ является высокоразвитое искусство бахвальства[198]. Героические вожди и воины столь же упорно нахваливали себя, как члены эгалитарных обществ себя принижали. Конечно, проигравшего в обмене подарками на самом деле в рабство никто не обращал, но он вполне мог чувствовать, будто это произошло. И последствия могли быть катастрофическими. В одном древнегреческом источнике описываются кельтские празднества, во время которых знатные воины попеременно то выходили на ристалище, то соревновались в щедрости, одаривая своих врагов роскошными драгоценностями из золота и серебра. Это могло приводить к полному поражению врага, если сделанный ему подарок был столь великолепен, что он не мог ничем ответить. В таком случае единственным достойным выходом из ситуации для него было перерезать себе глотку, что давало возможность раздать сторонникам его богатства[199]. Шесть столетий спустя в одной исландской саге рассказывалось о стареющем викинге по имени Эгил, сдружившемся с молодым человеком, которого звали Эйнар и который продолжал активно участвовать в набегах. Они любили сидеть вместе и сочинять стихи. Однажды Эйнар раздобыл великолепный щит, на котором «были рисунки из древних сказаний, а между рисунками — золотые блестки и драгоценные камни». Никто никогда не видел ничего подобного. Отправляясь к Эгилу, он взял с собой щит. Эгила не было дома, и Эйнар прождал его три дня, как того требовал обычай, а затем повесил щит в качестве дара в медовом зале и ушел.

> Эгиль вернулся домой. Когда он подошел к своему месту, то увидел щит и спросил, кому принадлежит это сокровище. Ему сказали, что приезжал Эйнар Звон Весов и подарил ему этот щит. Тогда Эгиль сказал:
>
> — Ничтожнейший из людей! Он думает, что я просижу над щитом всю ночь и буду сочинять в честь него песнь! Дайте мне коня! Я догоню и убью его!
>
> Эгилю сказали, что Эйнар уехал рано утром.
>
> — Он должен быть уже на западе, в долинах Брейдафьорда.
>
> Тогда Эгиль сложил всё же хвалебную песнь[200].

***

Соревнование в обмене подарками никого в раба буквально не превращает; это просто дело чести. Однако речь идет о людях, для которых честь — это всё.

Главная причина, по которой неспособность уплатить долг, особенно долг чести, была таким тяжелым ударом, заключалась в том, чти именно так знать собирала свою свиту. Например, в Древнем мире закон гостеприимства требовал, чтобы каждому путешественнику давали кров и пищу и обращались с ним как с дорогим гостем, — но лишь на протяжении некоторого времени. Если гость не уезжал, он рано или поздно становился зависимым лицом. Историки не уделили должного внимания роли таких приживальщиков. В разные времена, от императорского Рима до средневекового Китая, самым важным видом отношений, по меньшей мере в больших и мелких городах, были отношения патронажа. Любого богатого и влиятельного человека окружали подхалимы, прихлебатели, постоянно ужинавшие у него гости и другие зависимые люди. Пьесы и поэмы тех времен изобилуют описаниями таких типажей[201]. На протяжении большей части человеческой истории быть уважаемым представителем средних слоев означало каждое утро обходить дома важных местных покровителей, отдавая им дань уважения. Системы неформального патронажа складываются и сегодня всякий раз, когда относительно богатые и могущественные люди желают создать вокруг себя сеть сторонников: такая практика широко распространена во многих областях Средиземноморья, Ближнего Востока и Латинской Америки. Подобные отношения, по-видимому, представляют собой причудливое переплетение трех принципов, которые я обрисовал в этой главе; тем не менее те, кто их наблюдает, пытаются выразить их языком обмена и долга.

Последний пример: в сборнике под названием «Дар и добыча», опубликованном в 1971 году, есть короткое эссе антрополога Лоррен Блаксте о сельском департаменте во Французских Пиренеях, где живут в основном фермеры. Каждый подчеркивает важность взаимопомощи — местное выражение, ее обозначающее, переводится как «оказать услугу» (rendre service). Люди, живущие в одной общине, заботятся друг о друге и приходят на помощь соседу, оказавшемуся в беде. В этом заключается сущность общинной нравственности; на этом зиждется само существование общины. Пока всё очевидно. Однако, отмечает антрополог,

когда кто-то оказывает очень большую услугу, взаимопомощь может превратиться в нечто другое:

> Если человек пришел на фабрику к боссу, попросил работу и босс ему ее дал, это может быть примером оказания услуги. Человек, получивший работу, никогда не сможет расплатиться с боссом, но может проявлять к нему уважение и делать символические подарки в виде продуктов, которые выращивает у себя на огороде. Если подарок требует ответного подарка, который человек сделать не может, то отплатой будет поддержка и уважение[202].

Так взаимопомощь перетекает в неравенство. Так возникают отношения между патроном и клиентом. Мы уже это наблюдали. Я выбрал именно этот фрагмент, потому что формулировки автора очень странные: они полностью противоречат друг другу. Босс оказывает человеку услугу. Человек не может отплатить тем же, поэтому он возвращает услугу, приходя к дому босса с корзиной помидоров и выказывая ему уважение. Так может он вернуть услугу или нет?

Охотник за моржами из книги Петера Фрейхена, без сомнения, решил бы, что точно знает, о чем тут идет речь. Принести корзину с помидорами просто означало сказать «спасибо». Это был способ признать, что у человека есть долг благодарности, что подарки превращают в рабов, равно как плеть превращает в собак. Босс и рабочий теперь люди принципиально разного рода. Проблема в том, что в прочих отношениях они не являются людьми принципиально разного рода. Скорее всего, оба они французы среднего возраста, отцы семейств, граждане Республики со схожими вкусами в музыке, спорте и еде. Они должны быть равны. В результате даже помидоры, представляющие собой символ признания долга, который никогда нельзя будет выплатить, должны изображаться так, как если бы они были формой возвращения долга — выплатой процентов по ссуде, которую можно — и все согласны притворяться, что это так, — однажды выплатить, что вернет обеим сторонам их равный статус относительно друг друга[203].

(Неслучайно услуга заключается в том, чтобы найти клиенту работу на фабрике, потому что то, что происходит в данном случае, вообще несильно отличается от того, что происходит, когда вы устраиваетесь на работу на фабрике. Внешне трудовой договор является свободным договором между равными людьми, но это такое соглашение, в котором обе стороны условливаются, что, как только один из них минует проходную, они перестают быть равными[204]. Закон признает, что в этом есть некоторая проблема; именно поэтому он подчеркивает, что вы не можете продать свое равенство навсегда. Такие договоренности приемлемы, только если власть босса не абсолютна, а ограничена рабочим временем и если у вас есть законное право в любой момент разорвать договор и восстановить свое полное равенство.)

Мне кажется, что договоренность между равными людьми о том, что они больше не будут равны друг другу (по крайней мере, на время), имеет ключевое значение. Это самая суть того, что мы называем «долгом».

***

Так что такое долг?

Долг — вещь очень специфическая, и возникает он в очень специфических ситуациях. Для этого прежде всего нужны отношения между двумя людьми, которые не считают себя людьми принципиально разного рода и которые, по крайней мере потенциально, равны друг другу и действительно равны в по-настоящему важных вещах; сейчас они не находятся в равном положении, но могут так или иначе это исправить.

В случае поднесения подарков, как мы видели, требуется определенное равенство в статусе. Именно поэтому наш профессор экономики не чувствовал никаких обязательств — никакого долга чести, — принимая приглашение на ужин от человека, обладающего намного более высоким или намного более низким статусом. В случае с денежными ссудами требуется лишь, чтобы обе стороны имели равное юридическое положение. (Вы не можете одалживать деньги ребенку или сумасшедшему. То есть можете, конечно, но суды не будут вам помогать их вернуть.) Юридические долги по сравнению с нравственными имеют и другие уникальные свойства. Например, их могут простить, что не всегда возможно в случае с нравственным долгом.

Это означает, что на самом деле не бывает долгов, которые нельзя выплатить. Если бы не было никакой возможности исправить ситуацию, мы бы не называли это «долгом». Даже французский селянин мог спасти жизнь своему патрону или выиграть в лотерею и купить фабрику. Даже когда мы говорим о преступнике, который «возвращает свой долг обществу», мы считаем, будто он совершил нечто столь ужасное, что за это был лишен своего равного статуса, гарантированного законом и являющегося естественным правом каждого жителя данной страны; как бы то ни было, мы называем это «долгом», потому что он может быть выплачен, а равенство может быть восстановлено, пусть даже ценой смерти от смертельной инъекции.

Пока долг остается невыплаченным, действует иерархическая логика. Взаимности тут нет места. Как известно всякому, кто бывал в тюрьме, заключенным тюремщики в первую очередь говорят, что всё происходящее в тюрьме не имеет ничего общего с правосудием. Схожим образом должник и кредитор общаются друг с другом, как крестьянин с феодальным сеньором. Здесь царит прецедентная логика. Если вы приносите кредитору помидоры со своей грядки, вам и в голову не придет, что он может вам дать что-то взамен. Напротив, он, скорее всего, будет ждать, что вы сделаете это снова. Но такая ситуация всегда воспринимается как неестественная, потому что на самом деле долги должны выплачиваться.

Именно это делает долги, которые нельзя выплатить, столь тяжелыми и болезненными. В конце концов, кредитор и должник равны друг другу, а значит, если должник не может сделать то, что необходимо для восстановления равенства, с ним, разумеется, что-то не так; он сам в этом виноват.

Эта связь становится очевидной, если мы обратимся к этимологии слова «долг» в европейских языках. Во многих из них оно является синонимом ошибки, греха или вины: подобно тому как преступник имеет долг перед обществом, должник — это всегда своего рода преступник[205]. По Плутарху, на древнем Крите существовал обычай, согласно которому бравшие ссуду должны были сделать вид, что выхватывают деньги из мошны заемщика. Почему, спрашивает он? Возможно, «потому, что так, если они не выполняли свои обязательства, их могли обвинить в совершении насильственного действия и наказать по всей строгости»[206]. Поэтому так часто в истории должников могли сажать в тюрьму или даже — как во времена Ранней республики в Риме — казнить.

Таким образом, долг — это просто обмен, который не был доведен до конца.

Из этого следует, что долг в строгом смысле слова — это порождение взаимности и имеет мало общего с другими формами нравственности (коммунизмом с его потребностями и способностями; иерархией с ее обычаями и личными качествами). Конечно, при желании можно было бы заявить (как некоторые и делают), что коммунизм — это состояние постоянной взаимной задолженности или что иерархия строится на долгах, которые нельзя выплатить. Но разве это не всё та же старая песня, авторы которой исходят из предположения, что любое взаимодействие между людьми по определению должно быть обменом в той или иной форме, и дальше выделывают разные интеллектуальные кульбиты, чтобы это доказать?

Нет. Формами обмена являются не все виды взаимодействия между людьми, а лишь некоторые. Обмен способствует складыванию особого понимания человеческих отношений. Так происходит потому, что обмен предполагает не только равенство, но еще и размежевание. Когда деньги переходят из рук в руки и списываются долги, равенство восстанавливается и обе стороны могут отправляться восвояси, поскольку им больше нет дела друг до друга.

Долг — это то, что происходит на том промежуточном этапе, когда обе стороны еще не могут отправиться каждая восвояси, потому что они всё еще не равны. Но это протекает в рамках потенциального равенства. Однако достижение этого равенства разрушает саму причину отношений, ведь на промежуточном этапе происходит всё самое интересное, даже если это означает, что все подобные отношения несут в себе небольшую толику преступности, вины или стыда[207].

Для женщин народа тив, о которых я говорил в этой главе, промежуточный этап не составлял проблемы. Делая так, что каждый всегда был в небольшом долгу перед кем-то другим, они создавали человеческое общество, пусть даже и очень хрупкое: это была тонкая сеть, сотканная из обязательств вернуть три яйца или сумку охры и позволявшая возобновлять и заново создавать между людьми связи, которые могли быть прерваны в любой момент.

Наши собственные формы вежливости несильно от этого отличаются. Возьмем для примера распространенный в американском обществе обычай постоянно говорить «пожалуйста» и «спасибо». Часто это считается основой нравственности: мы журим детей всякий раз, когда

они забывают это сказать, точно так же как стоящие на страже нравственности нашего общества учителя и министры корят за это всех остальных. Мы часто считаем, что это универсальный обычай, но пример эскимосского охотника показывает, что это не так[208]. Как и многие другие формы повседневной вежливости, они стали результатом своего рода демократизации того, что прежде было выражением феодального почтения: настоятельное требование, чтобы абсолютно ко всем обращались так, как раньше обращались только к сеньору или другому лицу, стоявшему выше по иерархической лестнице.

Возможно, это распространяется не на все случаи. Представьте, что вы едете в переполненном автобусе и хотите сесть. Вежливый пассажир убирает с сиденья свою сумку; в ответ мы улыбаемся, киваем или как-то еще выражаем свою признательность. Или и правда говорим «спасибо». Такой жест всего лишь признание того, что женщина, занявшая лишнее место, — не просто физическое препятствие, а человек; мы испытываем к ней искреннюю благодарность, хотя вряд ли ее когда-либо увидим. Это не относится и к ситуации, когда кто-то с другого конца стола просит «передайте мне, пожалуйста, соль» или когда почтальон благодарит вас за то, что вы подписали квитанцию. Мы считаем это не имеющими значения формальностями и в то же время нравственной первоосновой общества. Их кажущуюся неважность можно оценить тем фактом, что почти никто, в принципе, не отказывается говорить «пожалуйста» или «спасибо» в любой ситуации, даже те, кто не может сказать «прошу прощения» или «извините».

На самом деле английское слово «пожалуйста» (please) — это сокращение от «если вы изволите» (if you please), «если вам будет угодно это сделать» (if it pleases you to do this); то же выражение имеется в большинстве европейских языков (s’il vous plaît по-французски, por favor по-испански). Дословно оно означает «вы не обязаны это делать». «Передайте мне соль. Я не говорю, что вы должны это делать!» Это неправда; такое социальное обязательство почти невозможно не выполнить. Но этикет во многом состоит из обмена надуманной вежливостью (или враньем, если выражаться менее вежливым языком). Когда вы просите кого-то передать соль, вы даете ему приказ; добавляя слово «пожалуйста», вы говорите, что это не так. Но на самом деле это приказ.

В английском языке слово «спасибо» (thank you) происходит от глагола «думать» (think). Изначально оно означало «я буду помнить о том, что ты для меня сделал», что, как правило, было неправдой; но в других языках (португальское obrigado — хороший тому пример) стандартный термин соответствует выражению «премного обязан», то есть означает «я перед тобой в долгу». Французское merci еще более показательно: оно происходит от слова «милосердие», мольбы о милосердии; произнося его, вы символически отдаете себя во власть своего благодетеля, поскольку в конечном счете должник — это преступник[209]. Говоря «не стоит благодарности» (you’re welcome) или «не за что» (it’s nothing) (французское de rien, испанское de nada) — последнее выражение, по крайней мере, обладает тем преимуществом, что зачастую это правда, — вы уверяете человека, которому передали соль, что не записываете это действие в колонку долгов в вашей воображаемой счетной книге нравственности. То же относится к выражению «с удовольствием» (my pleasure) — произнося его, вы говорите: «Да нет, это кредит, а не долг, вы мне сделали одолжение, поскольку, попросив передать соль, дали мне возможность сделать жест, сам по себе доставляющий мне удовольствие!»[210]

Расшифровка негласного подсчета долгов («Я вам должен», «Нет, вы мне ничего не должны», «Если кто-то кому-то и должен, так это я вам» — словно в бесконечной бухгалтерской книге делаются бесконечно мелкие записи, а затем вычеркиваются) помогает понять, почему такого рода вещи рассматриваются не как квинтэссенция нравственности, а как квинтэссенция нравственности среднего класса. Сегодня в обществе действительно доминирует эмоциональность среднего класса. Но всё еще есть люди, которые находят ее странной. Верхушка общества часто полагает, что учтивость должна проявляться прежде всего к лицам, стоящим выше по иерархической лестнице, и считает идиотизмом, когда почтальон и кондитер пытаются общаться друг с другом, словно два мелких феодальных сеньора. На другом конце шкалы находятся те, кто вырос в среде, которую в Европе называют «народной», — в мелких городах, бедных районах и тому подобных местах, где всё еще считается, что люди, не враждующие друг с другом, должны друг о друге заботиться. Они сочтут за оскорбление, если им постоянно будут говорить, что есть вероятность, будто они могут не выполнять свою работу официанта или таксиста должным образом или не угостить гостей чаем. Иными словами, этикет среднего класса подчеркивает, что все мы равны, но делает это по-особому. С одной стороны, он требует, чтобы никто никому не давал приказов (ср. громила-охранник в торговом центре, который обращается к человеку, зашедшему в запрещенную зону, со словами: «Чем я могу вам помочь?»); а с другой — расценивает как форму обмена любой жест, в котором проявляется то, что я назвал «базовым коммунизмом». В результате общество среднего класса, как и общины народа тив, должно постоянно создаваться заново в бесконечной игре мерцающих теней, где пересекается бесчисленное множество мгновенных отношений долга, которые почти сразу же исчерпываются.

Всё это относительно недавнее изобретение. Обычай всегда говорить «пожалуйста» и «спасибо» возник во время торговой революции XVI–XVII веков в среде того самого среднего класса, который ее в основном и вершил. Этот язык контор, лавок и канцелярий за последние пять столетий распространился по всему миру. Это еще и одно из проявлений более широкой философии, набора допущений относительно того, чем являются люди и что они друг другу должны, которые так глубоко проникли в наше создание, что мы их даже не замечаем.

***

Иногда на заре новой исторической эры находятся прозорливые наблюдатели, которые предугадывают последствия того, что только начинает происходить, — порой им это удается лучше, чем последующим поколениям. Позвольте мне закончить главу отрывком из текста, написанного таким человеком. В 1540-х годах в Париже Франсуа Рабле — бывший монах, врач, правовед — сочинил ставшую знаменитой насмешливую хвалебную речь, которая вошла в третью книгу его великого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» и получила название «Похвала долгу».

Рабле вкладывает этот панегирик в уста Панурга, странствующего ученого, человека классической эрудиции, который, как он отмечает, «знал шестьдесят три способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная

кража»[211]. Добродушный великан Пантагрюэль принимает у себя Панурга и даже обеспечивает его солидным доходом, но ему досаждает, что Панург продолжает бросать деньги на ветер и оказывается по уши в долгах. Не лучше ли было бы, спрашивает Пантагрюэль, расплатиться со своими кредиторами?

Панург с ужасом отвечает: «Чтобы я стал освобождаться от долгов? Сохрани меня бог!» Долг — это первооснова его философии:

> Будьте всегда кому-нибудь должны. Ваш заимодавец денно и нощно будет молиться о том, чтобы Господь ниспослал вам мирную, долгую и счастливую жизнь. Из боязни, что он не получит с вас долга, он в любом обществе будет говорить о вас только хорошее, будет подыскивать для вас новых кредиторов, чтобы вы могли обернуться и чужой землей засыпать его яму[212].

Прежде всего они всегда будут молиться, чтобы вы раздобыли денег. Это похоже на положение рабов древности, которых приносили в жертву во время похорон их хозяина. Когда они желали своему хозяину долгой жизни и крепкого здоровья, они были совершенно искренни! Более того, долг может превратить вас в своего рода бога, который может сделать нечто (деньги, доброжелательных кредиторов) из ничего.

> Я вам больше скажу: клянусь святым угодником Баболеном, всю свою жизнь я смотрел на долги как на связующее звено, как на связующую нить между небесами и землей, как на единственную опору человеческого рода, без которой люди давно бы погибли. Быть может, это и есть та великая мировая душа, которая, согласно учению академиков, всё на свете оживляет.
>
> Чтобы вам это стало ясно, вообразите себе идею и форму какого-нибудь мира — возьмите хотя бы тридцатый мир, описанный философом Метродором (…), но только лишенный должников и кредиторов. Мир без долгов! В подобном мире тотчас нарушится правильное течение небесных светил. Вместо этого полнейший беспорядок. Юпитер, не считая себя более должником Сатурна, лишит его орбиты и своею гомерическою цепью опутает все умы, всех богов, небеса, демонов, гениев, героев, бесов, землю, море, все стихии (…) Луна нальется кровью и потемнеет. С какой радости солнце будет делиться с ней своим светом? Оно же ей ничем теперь не обязано. Солнце перестанет освещать землю. Светила перестанут оказывать на нее благотворное влияние (…)
>
> Между стихиями прекратится всякое общение, прекратится их чередование и превращение, оттого что ни одна из них не будет считать себя в долгу у другой, ведь та ничего ей не ссудила. Земля не будет производить воду, вода не будет превращаться в воздух, воздух — в огонь, огонь перестанет греть землю. Земля ничего не будет рождать, кроме чудовищ (…) Дождь перестанет дождить, свет светить, ветер веять, не будет ни лета, ни осени.

> Люцифер порвет на себе оковы и, вместе с фуриями, эриниями и рогатыми бесами выйдя из преисподней, постарается прогнать с неба богов всех великих и малых народов.

Более того, если бы люди ничего не были друг другу должны, жизнь была бы «не лучше собачей драки» — простой потасовкой без правил.

> Люди перестанут спасать друг друга. Каждый волен будет кричать во всю мочь: «Пожар!», «Тону!», «Караул!» — никто не придет на помощь. Отчего? Оттого, что он никому не дал взаймы, никто ему не должен. Никому нет дела, что дом его горит, что корабль его идет ко дну, что он разорился, что он умирает. Раз он сам никого не ссужал, то, наверно, и его никто не ссудит.
>
> Коротко говоря, из такого мира будут изгнаны Вера, Надежда, Любовь.

Панург, человек без семьи, главное призвание которого было добывать много денег и затем их тратить, выступает как пророк мира, который тогда только лишь рождался. Конечно, он говорил с позиции должника состоятельного, а не такого, которого могли бросить в какую-нибудь зловонную тюрьму за неуплату долга. Как бы то ни было, то, что он описывает, является логическим следствием, reductio ad absurdum, которому Рабле, как обычно, придает гротескные формы, допущений относительно мира обмена, скрывающегося за нашими милыми буржуазными формальностями (сам Рабле, кстати, их ненавидел — его книга представляет собой смесь классической эрудиции и грязных шуток).

То, что он говорит, — правда. Если мы утверждаем, что любое взаимодействие между людьми заключается в том, что люди обменивают одну вещь на другую, то долгосрочные отношения могут принимать исключительно форму долгов. Без них никто никому и ничего не будет должен. Мир без долгов вернется к изначальному хаосу, к войне всех против всех; никто не будет испытывать ни малейшей ответственности по отношению к другим; сам факт того, что ты человек, не будет иметь никакого значения; мы все превратимся в обособленные планеты, которые даже не будут способны удерживаться на своих собственных орбитах.

Пантагрюэль так не думает и говорит, что его отношение к этому вопросу может быть выражено словами апостола Павла: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви»[213]. Затем он выдает фразу совершенно в библейском духе: «От того, что было в прошлом, я вас избавляю».

«Мне остается только поблагодарить вас», — отвечает Панург.

---

Версия #1
Зверобой создал 26 июня 2025 13:49:17
Зверобой обновил 26 июня 2025 14:02:00